



М. О. МЕНЬШИКОВ

Из писем к ближним

XLII О ГРОБЕ И КОЛЫБЕЛИ

Торжественное провозглашение с подмостков Александрийского театра двух важных истин, первой, что христианство есть соединение Афродиты и Артемиды, и второй — что учиться христианству нужно из «Ипполита», написанного почти за 500 лет до Евангелия¹, — эта величественная новость напомнила мне о другой, более серьезной мысли, высказанной недавно в литературном споре со мной В. В. Розановым и на которую я не успел ответить. Мысль эта та, что язычество есть религия света и радости и представляет собою оптимизм, тогда как христианство, наоборот, религия мрака, отчаяния и в корне своем есть пессимизм. Мысль эта, высказанная известным писателем, заслуживает внимания, и так как она направлена по моему адресу и молчание часто считается за знак согласия, то мне хочется воспользоваться правом «последнего слова» и сказать, что я думаю об этом новом взгляде на христианство.

Я убежден, что эта тема не оттолкнет читателя своей серьезностью. По многим признакам, общество теперь интересуется религиозными вопросами, о них говорят в гостиницах, частных кружках, в печати. Историк Ланге² предсказывал лет двадцать назад наступление мистической эпохи, и, может быть, мы вступаем в нее. Общественное настроение теперь гораздо серьезнее, чем прежде. Долго шутивший просвещенный мир, блаженно веривший в прогресс, промышленность, политическую экономию, как будто перестает улыбаться. Он начинает видеть пропасти вокруг себя, он видит, что отовсюду надвигаются грозы, и будущее на нас глядит глазами сфинкса. Снова, как столетие назад, требуются великие разгадки, невозможные без мучитель-

ных напряжений. В такие времена прежнее «веселое» начинает казаться пустым и скучным, а серьезное приобретает неожиданный интерес. Как это ни странно представить, но бывали эпохи, когда, например, о логосе велись пылкие споры не только в ученых школах и светских гостиных, но и на торговых площадях. Кто знает тайну времени, кто укажет, что нынешним людям истинно нужно, в каком отношении изголодалось сердце? Если общество несколько охладело к точной науке и его неудержимо тянет к глубинам метафизики и религии, то, может быть, это вовсе не измена точной науке, может быть, это даже требование последней, безотчетное желание согласить открывшуюся правду внешней природы с опытом внутреннего чувства. Мы живем в невообразимой толчее. Сто тысяч вопросов науки и общежития, «миллион терзаний» нравственных, от которых не знаешь, куда деться, терзаний политики, промышленности, земледелия, торговли, чудовищного богатства и голодной смерти. Мудрено ли, что в этом хаосе мысль сознательных людей тянется в сторону религии, ищет упорно потерянного единства, путеводной нити, без которой этот мир под солнцем страшнее лабиринта? Может быть, подъем знаний, как было на вечерней заре язычества и в эпоху Возрождения, до такой степени нарушил равновесие духа, что он чувствует необходимость подъема в другую сторону и, как это было в конце прежних цивилизаций, мир может быть накануне нового восстановления веры. Не знаю, как другие, но я безотчетно чувствую, что ни один из проклятых вопросов существования нашего, ни бедность, ни невежество, ни война, ни рабство, ни даже судьба самого знания в окончательном его разуме, — ничто не может быть разрешено без твердого философского начала, без всенародного направляющего жизнь общества мистического закона.

Как я ни расхожусь во взглядах с такими писателями, как Д. С. Мережковский и В. В. Розанов, их тревожное стремление к религиозной истине возбуждает во мне сочувствие. Пусть они, как мне кажется, впадают в одну ошибку за другой, но, значит, они чего-то ищут, значит, они не равнодушны к Богу и он влечет их к себе теми или иными ведомыми Ему, хотя и странными для меня путями. Всего страшнее общественный сон, всего страшнее лицемерное равнодушие, то ленивое безверие, которое за все держится и ничего не хочет и для которого главный грех — движение мысли. В великом организме человечества идет лихорадочная работа. Одна из серьезнейших задач времени — вера. Пусть тысячи людей расчищают дебри политики, пусть сотни людей трудятся в туннелях знания, но и горсть лю-

дей, захваченная вопросами совести и веры, выполняет что-то нужное. Не «что-то», а, может быть, самое нужное, чем все мы живы.

Сделав эту оговорку, я прошу читателей припомнить содержание статьи В. В. Розанова «В чем разница древнего и нового мира» («Нов<ое> вр<емя>», № 9527)³. Вначале он «не понимает», почему я считаю, что между христианством и язычеством лежит непроходимая пропасть, а дальше доказывает, что пропасть действительно существует, хотя и не та, на которую я указываю. Я думаю, что дух Христа есть истина, язычество — ложь, и потому между ними не может быть примирения. А г. Розанов говорит, что христианство — печаль, а язычество радость, следовательно, и он считает их несогласимыми. Обходя великое множество попутных замечаний, возражать на которые нет нужды, попробуем, как предлагает мой противник, «обратиться к существу дела», — «не к физике истории, а к метафизике ее». «В чем коренится, — спрашивает он, — главная разница между эрою до-христианскою и после-христианскою?»

Чрезвычайно важно, что вопрос поставлен столь решительно, и то, что ответ дан совершенно ясный. В. В. Розанов говорит, что разница язычества и христианства — «в отношении к жизни и смерти». Он утверждает, будто языческая религия примыкала к колыбели и потому была «розовой», «воздушной», «оптимистической», тогда как христианство примыкает к гробу и потому развилось в «религиозный пессимизм». С новой эрою, говорит г. Розанов, «пришла на землю совершенно новая точка зрения на все вещи», именно точка зрения на них из конца их, а не из начала, и г. Розанов — в сравнении обеих точек — решительно отдает предпочтение старой, языческой. Он говорит, что язычники «имели религию в сторону веселого, легкого, житейского», вследствие чего «вся белая и розовая часть жизни у них проходила безусловно идеальнее, чем у нас». Мы, христиане, будто бы «умеем только умереть в Боге», жить же в нем не умеем, что храмы наши годны только для старцев. «Скажите, — спрашивает г. Розанов, — что юный нашел бы здесь для особых задач юности, для бодрости, труда, для способности любви и героического предприятия? Ничего, кроме совета уподобиться старцу: меньше есть, отнюдь не трудиться, ничего не задумывать и плакать о грехах» и пр. Г. Розанов еще раз восторгается языческими женщинами, доказывая, что самый разврат языческий имел будто бы «иную психологию и иной колорит», утверждает, что «с самого начала христианской веры появилась какая-то тупость, непонимание и издевательство в отношении к рождению», что

страсти в христианском мире, прорываясь через страх, «бывают угольно-черны, это чистая копоть, без света и теплоты», и самые будто бы «пакостные словообороты, изречения, присловья в этой области, как и самые темные, унижительные анекдоты идет от учебно-духовных сфер» и пр. и пр.

СОВЕРШЕННО НОВАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Если бы я хотел опровергать* все то, с чем я не согласен в статье г. Розанова, мне пришлось бы выписать ее целиком, и потому позвольте остановиться лишь на главной его идее. Правда ли, что язычество — оптимизм, а христианство — пессимизм? Правда ли, что «совершенно новая точка зрения», внесенная Христом в мир, состояла в страхе, печали, плаче и убеждении в вечном торжестве зла (пессимизм)? Мне кажется, это решительная неправда, и до такой степени противоречит очевидности, что даже возражать как-то странно. Главный довод г. Розанова, сообразно теперешнему его настроению, тот, что половая функция в язычестве была в почете, в христианстве же она пренебрежена. В то время как язычники имели особую богиню и особого бога плотской любви, в то время как изображения фаллоса носились торжественно в религиозных процессиях и к ним прикладывались, как к святыне, — христианство на самое рождение смотрит как на грех, что выразилось в приведенной г. Розановым очистительной молитве: «Прости рабе твоей, днесь родившей» и проч. Г. Розанов, проповедующий «теитизацию пола и сексуализацию религии», негодует, что при рождении младенцев у нас «ни свеч кругом, ни поцелуя, ни гимнов, ни фимиамов», как (в прежних своих статьях) сожалеет об отсутствии установленных «кратких молитвословий пред и после» супружеского акта. Все это будто бы доказывает, что христианство равнодушно к величайшей радости человеческой и потому есть религия печали. Но, не говоря о том, что счастье не исчерпывается половой функцией, не говоря о том, что просто противно вводить в религию физиологические отправления, — прямо противно, — откуда взял г. Розанов, что язычество в этом отношении имело преимущество пред христианством? И у язычников не было ничего подобного тому, чего требует г. Розанов.

* Более подробно я рассчитываю рассмотреть возражения В. В. Розанова и Д. С. Мережковского в своем отдельном издании «Писем к ближним»⁴.

Введение в культ сладострастного элемента — как у нас в некоторых сектах — было только порчей язычества и ничем иным; оно и в язычестве ничуть не облагородило рождения, не освятило колыбели. Чтобы держаться истины, нужно не забывать, что рождающее начало если и было обожествлено в язычестве, то не во главе, а лишь в ряду великого множества других явлений и сил. Venus-Genitrix была одним из второстепенных божеств. Вопреки г. Розанову, эта богиня «в пастушеские времена Лациума» была только богиней весны, и только впоследствии, при упадке культуры, являются Venus Genitrix, Venus victrix, vulgivata, libitina, celestis. Первобытная Венера была богиней скромной и серьезной, обнажать ее и подчеркивать эротические черты стали не ранее IV века. Но и тогда главными богами оставались Юпитер, Плутон, Нептун. Ясно, что и языческий культ вовсе не вытекает из полового процесса и не «примыкает к колыбели». Если в христианской церкви самый акт появления ребенка на свет считается нечистым, то то же самое было и в язычестве, и по простой причине — по физической неопрятности этого акта. Что касается «цветов и гимнов», то ни в какие времена само рождение не могло быть превращено в религиозное торжество. Когда женщина мечется в почти смертельных корчах, когда каждую минуту возможна смерть и матери, и ребенка — не до гимнов тут, не до цветов. Сама природа обставила появление человека безобразием и ужасом, — что тут делать «религии розовой» и «легкой»? Совершенно неверно, будто христианство ставит рождение человека вне религии («Ни свеч вокруг. Ни фимиамов. Ничего», — говорит г. Розанов). А что же тогда представляет церковное «таинство брака», столь торжественное коронование будущего отца и будущей матери и благословение их потомства? Чудо не в механизме родов и не в физическом моменте появления на свет, — чудо в зачатии, и чистота его благословляется церковью, как чистота всех других ступеней жизни. По учению Христа, мы дети Отца Небесного, значит, наше происхождение не только освящено религией, но поставлено, как божественное. Предписываемая в христианстве борьба с грехом есть не что иное, как охрана этой прирожденной святости, и в этом смысле скорее же христианство примыкает к колыбели, чем язычество. Как нежная мать над младенцем, христианство оберегает раз родившееся совершенство от увядания и смерти. Оберегает, сколько сможет, и во всяком случае гораздо больше, чем религия языческая, направленная, по г. Розанову, в сторону «веселого, легкого, житейского».

Пусть простит меня почтенный публицист, но, мне кажется, он делает грубую ошибку в оценке и язычества, и христианства. Мы все склонны делать эту ошибку, и только на ней держится странное пристрастие к классицизму. Дело в том, что, как в эпоху Возрождения, мы окружены теперь только «веселыми, легкими, житейскими» остатками язычества: статуями, вазами, поэмами, мифами — развалинами языческой роскоши. Начиная с лестниц домов нас встречают помпейские танцовщицы, мраморные грации и дымящиеся на плафонах алтари. Дома, на картинах и этрусских вазах, нас окружает веселый античный жанр, в библиотеке хранятся чаще всего песни Анакреона, идиллии Феокрита, сказки Овидия⁵, и вот мы привыкаем глядеть на древность исключительно сквозь розовые очки. Нам кажется, что полуголые люди эти были сплошь красивы, как боги, и счастливы, как боги, что и религия их была солнечная и нравы чудные. Но это чистое заблуждение. Я хорошо помню, как еще в ранней молодости, будучи в разных местах Греции и Италии, я был поражен несоответствием моего школьного представления с правдой. На самом кладбище античного мира, среди той же природы и потомства тех же предков, среди подлинных развалин и в богатых музеях я до очевидности понял, что в язычестве была не одна поэзия, а суровая проза, и что, как и у нас, проза преобладала. Если бы от нашей эпохи остались только писатели вроде Пушкина и Гете, да остатки искусства, — и наша эпоха показалась бы золотым веком. Первобытные люди были хвастливы, и нельзя же верить пафосу Гомера, как и нашим сказкам о богатырях. Поверхностное знакомство с древними крайне приукрашивает мир их жизни. Когда поглубже пришлось вникнуть в древнюю историю и литературу, мне ясно стало, что в язычестве нам безусловно нечего жалеть. Если мы несчастны, то и они были несчастны, и теми же самыми хворали язвами, да сверх того еще более гнойными.

«Язычество — оптимизм», — говорит г. Розанов. Легко сказать! Но уже достаточно вспомнить, что подавляющее большинство населения были рабы, отношение к которым со стороны хозяев было совершенно дьявольское. Бесперывные войны держали людей в вечном страхе и вечных слезах; из свободных граждан не было ни одного, кто бы не рисковал жизнью, кто бы не был когда-нибудь ранен, и многие ли из известных людей кончали своею смертью? Жизнь была груба и страшно тревожна. Религия не только далека была от оптимизма, но, напротив, если что характеризует язычество, то именно уныние религиозное, черта отчаяния, лежащая на всех тогдашних культах. Человек

был невежествен, природа казалась грозной, боги — воплощение стихий — представлялись злыми и мстительными. Весь древний мир, пресыщенный печалью, как библейский Иов, проклинал день, в который родился, и обвинял Бога, «огорчившего ему душу». Отнюдь не христианской, а именно языческой, дохристианской эпохе принадлежат самые глубокие выражения пессимизма. «И возненавидел я жизнь, — говорит Екклезиаст, — противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа... В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Участь сынов человеческих и участь животных — одна, как те умирают, так умирают и эти, и нет у человека преимущества пред скотом... И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем». Скажите, что мог бы прибавить пессимизм к этим словам отчаяния, сказанным за 1 000 лет до Христа?

ПОЭЗИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПЕССИМИЗМА

Еще безнадежнее этот ужас древней души сказался в учении Будды, первая из «четырёх благородных истин» которого та, что «жизнь есть мучение», а цель мудрости — «полное погашение бытия». Эта дохристианская религия исповедуется и донныне язычниками Азии, и г. Розанов все-таки считает язычество оптимизмом. Но где же в язычестве радость, где светлая вера, где торжество человека? В мрачных ли сирийских культах, где Молоху приносились человеческие жертвы? Мы далеки от тех времен, но представьте себе хоть на минуту состояние душ, когда люди были убеждены в присутствии среди них злого, беспощадного демона, рогатому идолу которого на раскаленные лапы приходилось бросать маленьких детей. Если вы отец, представьте себе ужас ребенка и ваши чувства. Неужели эти чувства были бы похожи на оптимизм? Вы скажете, что Молох был только у сирийцев, — но следы человеческих жертвоприношений заметны и у греков (Ифигения⁶), и у римлян (Деций Мус⁷). В лучшем случае умиловить богов можно было гекатомбой, т. е. смертью сотни быков. Тогдашние боги требовали удушения жизни, страдания, потоков крови. В самой возвышенной из религий древности — у Зороастра⁸, как и в египетском культе, злой дух равносителен доброму, и религия превращается в вечную драму крушения счастья. В частности, греко-римский культ, благо-

роженный все-таки дыханием свободы, прирожденным Европе, — даже этот культ был полон мрачного уныния. Просто непостижимо, где почтенный публицист усмотрел тут розовый оптимизм. Уже Гесиод⁹ считал свой век худшим из всех, доказывая, что человеческое счастье бесповоротно испорчено богами. Автор «Теогонии» обвиняет богов в том, что они разрушили невинное блаженство первобытных людей, в том, что они «скрыли от людей пищу», что Зевс «измыслил людям гнетущую печаль», что именно для гибели людей олимпийцы общими силами сотворили Пандору с ящиком бедствий, и с тех именно пор «бесчисленные печали посреди людей странствуют, полна земля злом, полно им и море»... «О, зачем, — восклицает поэт, — я принужден жить среди пятого поколения, зачем не умер ранее, не родился позже! Ныне род существует железный, ни днем не прекращаются труды и печали, ни ночью». Измученное бедствиями этой жизни, язычество не имело утешения и за гробом. Ахиллес у Гомера лучше хотел бы быть «поденщиком на земле, чем царем над мертвыми». Если за гробом человека ждет вечное уничтожение, то самое блистательное счастье на земле отравлено скорбью, и древние жили, как люди, над которыми произнесен смертный приговор. Возможен ли какой-нибудь оптимизм без веры в бессмертие? Глубоким отчаянием дышит мысль древних философов, поэтов и великих трагиков. Что такое вся греческая трагедия, как не строго выдержанное учение о пессимизме? Неизбежность страдания, непобедимость верховного зла, ничтожность всех наших радостей — вот до странности однообразная тема, в которую вылился благороднейший гений Греции. Слова Эмпедокла¹⁰: «О, боги! Как велики ваши несчастья, жалкие смертные! Среди какой борьбы и печалей вы рождены! Как скоро мы умираем! Всякое существование есть быстро исчезающий дым» и пр. — эти слова тысячу раз повторены трагиками, и из Эсхила, Софокла, Еврипида можно было бы набрать целый том сплошных стенаний. Это не только главный мотив, но само существо веры греков, самый глубокий догмат их религиозного сознания. Если целые поколения героев гибнут самой ужасной смертью, если ни красота, ни невинность, ни доблесть, ни вера, ни самоотвержение, ни мудрость Эдипа, ни добродетель Ипполита не спасают от мщения богов, если сами боги бледнеют пред верховным существом — Роком, то что такое этот всемогущий бог древних богов, как не Сатана, возобладавший над миром? Что такое эти жестокие, мстительные, кровожадные боги, как не иерархия дьяволов в нисходящем порядке? Вникните в психологию лучезарных олимпийцев, и вы поймете Мильтона и Данте, кото-

рые, придерживаясь средневекового миросозерцания, видели в богах этих демонов зла. Содержание трагедии греческой то же, как если бы их писали слабые животные, какие-нибудь кролики или мыши: вечное, неодолимое преследование жизни и вечное торжество зла. При таком отношении к божеству — неужели древняя религия могла быть «розовой», «воздушной», как утверждает г. Розанов? Неужели она могла быть оптимистической и одобрять дух к доблести и энергии?

Мне кажется, наших неоязычников (я говорю не о гг. Розанове и Мережковском) путает то, что религия языческая была насквозь переплетена мифами не только жестокими, но и развратными, что сами боги будто бы грешили и широко разрешали людям грешить. Религией тогдашней будто бы была признана радость жизни, «святое сладострастие» (по выражению г. Мережковского), «святая плоть». В оргиях Диониса под предлогом священнодействия язычники действительно предавались пьянству и распутству, но разве пьянство и разврат сколько-нибудь похожи на оптимизм, «розовый и воздушный»? Присмотритесь к современному пьянству и разврату — разве это настоящая радость жизни? Чаще всего это страшное лекарство от пустоты, от нищенства души, от гнетущего чувства бесцельности существования. Древние вакханалии есть психологическое дополнение трагедий. Если боги беспощадны, если Мойра¹¹ неодолима, если страдания и смерть неизбежны, то поневоле захочется перейти в скотское состояние, захочется безумия, сжигающего порока. Язычество в последние века как будто спешило истратить себя в разгаре страстей, и оргическое веселье его было не более, как кутеж перед самоубийством. Ведь и теперь в странах невежественных, несчастных, где народ доведен до отчаяния, разврат и пьянство принимают эпидемические формы, но это далеко не оптимизм.

О ДРЕВНЕМ СТРАХЕ

С непостижимой легкостью г. Розанов доказывает, что «страх» в отношении к божеству вошел вместе с христианством, но это до такой степени «наоборот», что даже опровергать не хочется. Христианство внесло в человечество мысль о Благое Отце; мы ни на минуту не можем приписать своему Богу чувство злобы, не развенчав Его в своем сердце. Если так, то какой же в христианстве возможен страх? Можно бояться естественных последствий своих ошибок, можно — и должно — бояться самого себя, но Бога? Все, что зависит от Него, по христианскому понятию безусловно бла-

гостно, от Него может исходить только благое, только истинное и только доброе, — иначе мы прямо не в состоянии себе даже представить Совершенного Существа. Отсюда великое спокойствие праведников и их блаженная жизнь. Не то было в язычестве, где человек был рабом даже не одного, а множества тиранов, и каждого нужно было бояться и умиловать. Вспомните, что при самом рождении ребенка в Риме нужно было обращаться не меньше, чем к девятнадцати различным божествам, охранявшим от специальных опасностей. Надо было молить богиню Потину, чтобы она научила ребенка пить, богиню Эдуку — чтобы научила есть, бога Фабулинуса — чтобы научил говорить, других бесчисленных богов, чтобы научили считать, петь и пр. Пусть эти маленькие боги были не выше наших домовых, но все же, как и домовые, могли вредить и пред ними надо было унижаться, приносить жертвы. Язычник был опутан страхом со всех сторон, гнетущими суевериями, примеры которых мы видим и теперь в простом народе. Пролетела ворона не с той стороны, и целая армия героев бледнела, не трогалась с места. Участь стран решалась видом луны или положением кишек жертвенного животного. Оказалась, например, печень у тельца без лопасти — и Александр Великий, ученик Аристотеля, восклицает: «О, боги! Какое страшное предзнаменование!»¹² Суеверие, говорит Плутарх, «как вода, заливающая низменные места, овладевало всем существом Александра и делало его в высшей степени трусливым». Что же говорить о простых смертных? Как наши крестьяне в глуши кажутся иногда просто сумасшедшими от множества глупейших «дурных примет», так и древние язычники. Великие поэты, воплотив народные бредни в пленительные образы и мифы, привели высокоодаренное племя к своего рода помешательству. Здравый смысл и совесть народа возмущались против богов, но внушение культа удерживало в страхе перед ними. Безверие в отношении Высшего существа и вера в низшие заставляли народ психически вырождаться. Мысль о вечном страдании человека от насилия или страсти богов внесла какую-то атмосферу глупости в древнюю душу, и эта глупость угнетала дух уже как самостоятельное бедствие.

Если бы религия языческая была жизнерадостна, как утверждает г. Розанов, то из нее возникли бы жизнерадостная поэзия и жизнерадостная философия. О поэзии сказано выше, но неужели стоицизм сколько-нибудь похож на оптимизм? Или эпикурейство, например, Лукреция? Или цинизм? Мудрость древних не пошла далее презрения к жизни. Будучи не в силах научить достойно жить, философы учили с достоинством умирать. В начале III века в Александрии один из крупных философов киренской школы, Гегесий¹³, доказывал, что жить нелепо, что счас-

тятся не существует, что сумма зла всегда подавляет сумму радостей и что только безумцам жизнь кажется благом. Гегесий имел такой успех и столько людей стали прибегать к самоубийству, что Птолемей¹⁴ принужден был закрыть его школу. В последний век язычества в Александрии образовалась академия самоубийц, принадлежать к которой считалось признаком хорошего тона; ее членами состояли Антоний и Клеопатра. Новейшие пессимисты — Шопенгауэр, Леопарди, Гартман¹⁵ — безусловно, ничего не прибавили к языческим учениям о пессимизме; все они и по религии, и по психологии своей — чистейшие язычники. Что такое шопенгауэровская воля, безумная и слепая, соблазняющая человека к бытию, чтобы раздавить последнее, — что такое эта воля, как не древняя Мойра, как не верховное, торжествующее в мире Зло?

Пессимизм — явление вечное и составляет, как мне кажется, болезнь души. Разновидности пессимизма — ипохондрия, меланхолия, мизантропия, *taedium vitae*, *Weltschmerz*, сплин, хандра, тоска, скука — все это угнетенные состояния, источник которых или физическое расстройство, или дурное внушение. Пессимизма, конечно, не чужды некоторые христианские исповедания, ордена и секты; у янсенистов, например, или у наших скопцов пессимизм доходит до уродливости. Но если говорить о христианстве как учении Иисуса Христа, то какой же это пессимизм? «Евангелие» значит «благая весть», то есть весть о благе. Каким образом благая весть могла внести в человечество страх и мрак и отнять у жизни ее розовую красоту? Мне кажется, никакая религия — и христианство в том числе — не имела бы ни малейшей цены, если бы она понижала человеческое счастье. Если *religio* — связь с Богом — дает одну горечь, уныние, отчаяние, смерть души, то не нужно этой связи, она превращается в сплошную казнь. От подобной религии следует освобождаться как от кошмара, и европейский мир, отбросивший свою унылую веру в злых демонов, доказал этим всю крепость своего духа. Болезнь была тяжела, почти смертельна, но благороднейшие из народов стряхнули с себя наваждение и вошли в новую атмосферу мысли. Величайшим приобретением истории, неизмеримо более важным всех открытий, явилось Откровение, что злых богов нет вовсе, что мир имеет Единого Бога и что Он добр. Если Он добр, то, значит, нечего бояться, долой страхи! Христианство положило конец первобытной панике, внушенной человечеству тысячами столетий борьбы за жизнь. В единобожии христианском человек впервые почувствовал себя существом благородным, не рабом никому на свете, ибо даже Верховное существо объявлено Отцом, которого благодать беспредельна.

Вопреки г. Розанову, я думаю, что более совершенного и более возвышенного оптимизма, как тот, что принес с собой Христос, никогда не было на земле. Человеку даны заповеди не просто счастья, а блаженства, причем найдена такая центральная точка зрения, с которой самые бедствия человеческие становятся благами. В то время как языческий пессимизм провозглашал вечную непобедимость зла, Христос многократным повторением: «блаженны!» утвердил возможность блаженства истинного и окончательного. Я не говорю о надежде бессмертия (она одна снимала петлю с человеческой души), я не говорю о загробной жизни. Бесконечное бытие за гробом я считаю тайной, совершенно для меня непроницаемой. Бессмертие можно чувствовать внутренне, без доказательств, и разве ощущение его, доступное праведным, не есть блаженство? Но если загробная наша участь от нас скрыта, то зато жизнь здешняя освещена Христом, как солнцем, и поставленные условия блаженства ясны, как день. Что огромное большинство христиан чувствуют себя неспособными к христианскому счастью, это неудивительно: почти все мы — скрытые язычники, и в этом все проклятие нашей жизни. Но как неизлечимый больной не смеет отрицать условий здоровья, так и грешники не смеют отрицать спасительности Евангелия. Пусть Христос спасает от гибели еще не вполне погибших, пусть Он помогает не безнадежно падшим, — важно, что найден закон счастья, найдена в природе благая Воля, выполняя которую человек блажен. Христос призывает всех, и, кажется, единственное препятствие для новой жизни — ложная мысль, будто она трудна. Но «иго Мое благо и бремя Мое легко», говорит Христос, и нельзя этому не верить, когда вникнешь в нравственное состояние тех немногих, кто действительно следует Христу. Их религиозная радость более, нежели оптимизм, — это неизреченный восторг. Во внутреннем преображении праведника обнаруживается столько счастья, что оно излучается как некое сияние, делающее и других счастливыми. Если мы редко наблюдаем это великое явление духа, то не будем так недобросовестны, чтобы вовсе отрицать его.

Вера в Бога есть уверенность в высшем благе. Потеря этой веры есть величайшее из несчастий, какое может постигнуть народ. Уже одно колебание в мысли, что христианство ведет к счастью, тотчас возвращает нас в объятия безнадежного язычества, в царство зла.